АЛЕКСАНДРЪ

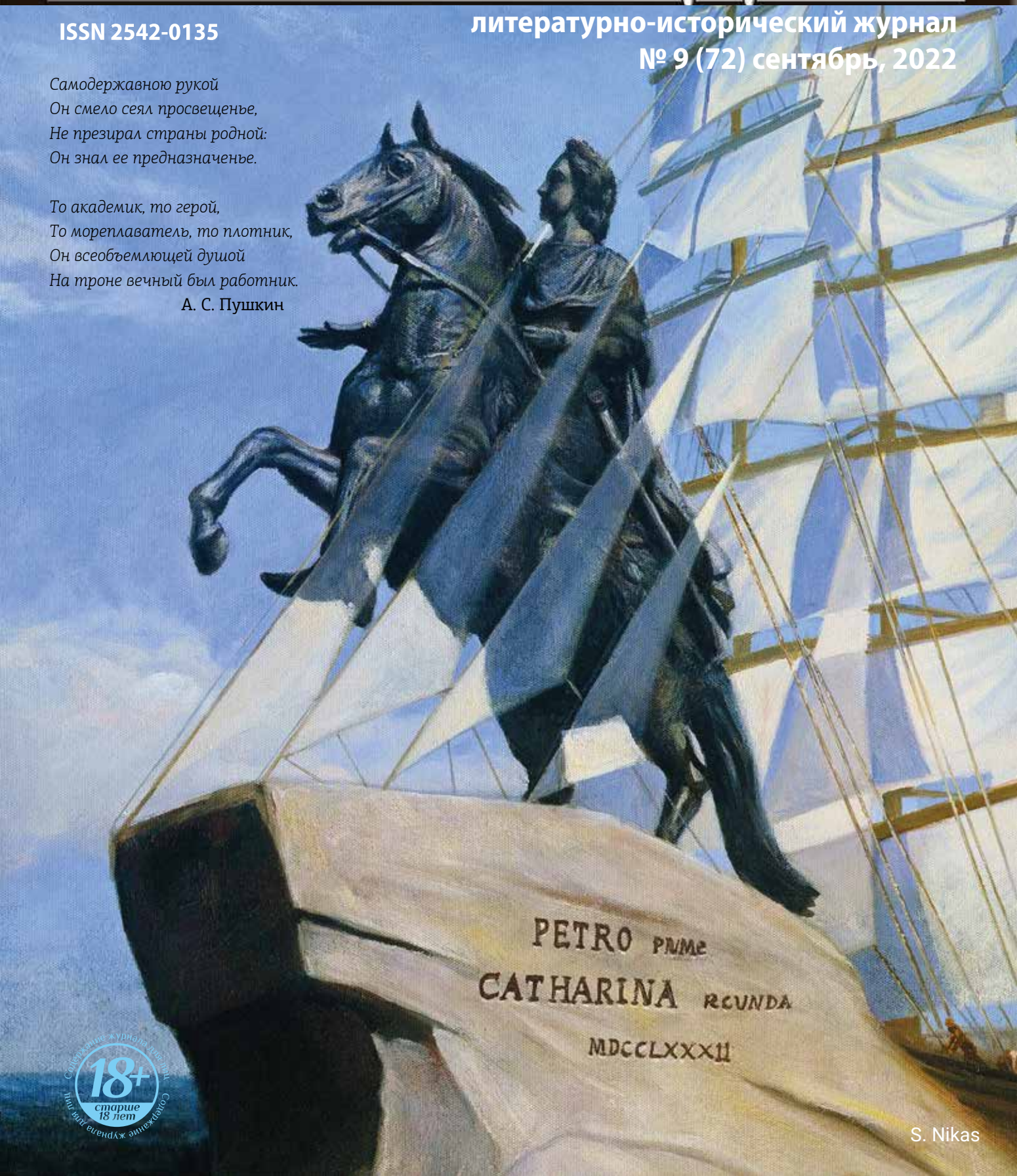
ISSN 2542-0135

литературно-исторический журнал
№ 9 (72) сентябрь, 2022

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А. С. Пушкин



Содержание журнала для лиц, не достигших 18 лет
18+
старше 18 лет

S. Nikas

Шесть лет мне...

РАССКАЗ

Над заводским посёлком сгустился синий сумрак, под жёсткими подошвами похрустывали успевшие схватиться ледком лужицы, и низко над землёй сияли крупные звёзды.

Я зашёл в барак, отпер обитую толем дверь комнаты, где жил один после смерти матери, включил свет, разделся и лёг на кровать. Увеличенный каким-то расхожим фотографом её портрет смотрел на меня со стены. Она умерла четыре месяца назад, в начале зимы, и до сих пор я не мог привыкнуть к своему сиротству. Но человек никогда один не остаётся, и если у него нет настоящего и будущего, то всегда до последней минуты с ним его прошлое, и от него никуда ему не уйти.

И временами оно выплывает из памяти, волнуя сердце, и мне кажется, что я не из прошлого вышел, а из какого-то морока, похожего на весенний туман-снегоед, густой и молозивый, дожёвывающий остатки сугробов по укромным местам, где ещё прячется зима. И позади меня туман, и впереди туман. И жизнь – это всего лишь короткая перебежка по солнечной поляне из одной непроходимой чащи в другую. И всё-то есть на этой поляне: и свет, и тьма, и цветы, и задубелый репейник, и тропок на ней видимо-невидимо, а всё же ты торопишься по своей единственной и на другую ни за что не перепрыгнешь.

И сейчас вот опять отчётливо вспыхнуло – лысые каменистые сопки, обдутые жёсткими ветрами, поросшие мелкой полынью и махалками ковыля. Внизу, в распадке между возвышенностями, – шахта. Чёрный конус террикона. Кривые улочки, ползущие вверх по склонам, насыпные и саманные домишки, бараки.

Свой барак, первый в жизни, потом были и другие, я хорошо помню. Комната узкая, как траншея, грязное от угольной пыли окно, одна на двоих с матерью койка, печка. Всё это потом повторялось не раз, только в других местах.

В бараке жил народ сборный. Вербованные, которых привезли в Сибирь из России, в лаптях, с быстрым цокающим говором, местные из разорённых деревень, демобилизованные фронтовики, всякая другая приблатнённая публика. На отшибе от посёлка ощетинилась колючей проволокой лагерная зона, где сидели пленные немцы.

Я довольно равнодушен к деньгам, наверное, потому, что моим первым воспоминанием были деньги, мешки денег, завалы пахнувших типографской краской пачек денег в банковских упаковках. Мама работала кассиром и в дни выдачи зарплаты задерживалась допоздна, пока не выдаст всю наличность. Я был с ней частенько, засыпал где-нибудь в углу кассы на мешках с деньгами.

По тем временам кассир был заметной фигурой. Маме выдали белый полушубок, валенки, она ездила в банк с двумя автоматчиками, в кошёвке, а в оглоблях приплясывал призовой жеребец, шахтная знаменитость, упругий, как пружина, Зайчик.

Однажды конюх и шофёр единственной на шахте полуторки поспорили, кто вперёд добежит до станции, что была в десятке километров, конь или грузовик. Так вот, Зайчик шутя обошёл старую, разбитую на военных дорогах полуторку. После этого о жеребце стали ходить легенды, и можно себе представить мою радость, когда я впервые увидел маму в кошёвке между двух розовощёких парней с автоматами, а главное, Зайчика, который, чуть отвернув набок голову и приплясывая, шёл мимо поселковых развалюх.

– Одевайся, Вася! – сказала мама. – Поедем со мной в город, надо сапоги тебе к весне купить.

Я обрадовался до немоты. Не далее как вчера я просился у неё прокатиться, а тут счастье такое свалилось нежданно-негаданно. Я быстро оделся и выбежал на улицу.

Конюх Артём сидел на облучке в шубе-борчатке и курил козью ножку. Солдаты, закинув за спины автоматы, разговаривали, загородив тропинку, с вербованными девчатами.

Я подошёл к Зайчику и почувствовал, как от того остро пахнет потом и свежим сеном. Жеребец нервно переминался с ноги на ногу, косил злым лиловым глазом, из ноздрей струились белёсые завитки пара.

Сбруя на Зайчике была добротной работы, надраенные медные кругляшки сияли от утреннего зимнего солнца, и казалось, жеребец был не в сбруе, а в панцире. От нервных движений Зайчика кожаные ремни скрипели, а под дугой, расписанной синими птицами, позванивал колокольчик-шаркунец.

Народу на улице было мало, и я жалел, что меня, гордо восседавшего на облучке рядом с Артёмом, почти никто не видит. Зайчик осторожно шёл под гору, всхрапывая и оседая на круп. Остро светило солнце, и пахло угольным дымом из протопленных утром печей.

Посёлок был невелик. За вентиляторной подстанцией, которая гудела всей утробой, засасывая в шахту свежий воздух, мы свернули в чахлый березнячок.

– А что, Васёк, не боишься, как ведмедь вдруг выскочит из-под пня? – толкнул меня в бок Артём и ощерился чёрным цинготным ртом.

– У нас же ружья, – ответил я и покосился через плечо назад.

Мама сидела между солдат, закрыв ноги тяжёлой, цвета бычьей крови попоной.

Она слышала, что сказал Артём, начала рассказывать.

– Перед войной, летом тридцать девятого, поехала, как сейчас, за деньгами для леспромхоза. Еду по стлани, брёвнышки подо мной постукивают. Задремала чуток, жарко было. Вдруг чую – встала моя Карюха. Гляжу, сбоку медведь к нам топает. Карюха повела ушами, как дёрнет... Я кувырком на дорогу, а лошадь и деньги, тысяч тридцать было, убежали от меня. Протёрла глаза, а он метрах в тридцати от меня сидит на пеньке, как человек. Я от него, он за мной. Я остановлюсь. Он остановится. Так и играли, может, полдня. Потом он поднялся и пошёл в лес. А через минут десять машина подошла наша, леспромхозовская. А Карюха отбежала с километр и на полянке пасётся, и деньги целёхоньки...

– Это он тебя, Евдокия, в жёны хотел взять! – заржал Артём. – Медведи, они сластники, мёд, малина, ну и это самое...

Низкий березнячок был мне знаком. Прошлым летом меня сюда заманили подростки и отняли новую тюбетейку. И хитро так заманили. Я скучал по бабушке, мне сказали, что она живёт за лесом. Так и попался. До сих пор было жалко тюбетейки. Так первый раз в жизни меня обманули.

Город оказался тесным скопищем грязных домов, над которыми кружились, словно копоть, стаи крикливых ворон.

Сначала пошли насыпухи, кривобокие с рваными толевыми крышами, бараки, окружённые колючкой и вышками и без этого окружения, дырявые, с надолбами жёлтого льда сортиры, чахлые деревья на обочинах, потом впереди замигал светофор, стало гуще машин и людей. Зайчик нервно всхрапывал и скользил подковами по льду. Артём, сдерживая жеребца, покрепче накрутил вожжи на руки.

За светофором улица расширилась, из-за угла, позванивая, вынырнул трамвай. Вагоны были битком набиты людьми, они висели в дверях и даже сзади последнего вагона.

– Самый центр! – Артём кивнул в сторону громадного белого здания, перед которым стоял высоченный чугунный человек в шинели до пят. Я посмотрел и увидел на торце белого дома портрет этого же человека, только нарисован он был не в шинели, а в кителе. Голова его занимала два верхних этажа, потом шло туловище, штаны с красными лампасами и блестящие сапоги. Лицо у человека было спокойное и доброе. С отеческим вниманием он смотрел на центральную площадь, внимая каждому взгляду.

У здания Госбанка было тесно от множества саней и автомашин. Кассиры со всей округи съехались за деньгами для шахтёров, рабочих и охранников. Автоматчики сразу углядели среди других солдат своих земляков. Артём разговорился с конюхом из соседней шахты, а мама заняла очередь в кассу и повела меня на вещевой рынок.

...Безногий инвалид на деревянной коляске пел возле входа, подыгрывая на балалайке:

В ноги бросилась старуха,
Я её прикладом в ухо.
Старика прикончил сапогом,
Да! Да!..

Несмотря на мороз, калека был в одном пиджаке, из-под которого выглядывали тельняшка и синие наколки. Рядом с ним лежала шапка, в которой поблёскивала мелочь. Ему подавали, но мало и редко.

Вокруг торговали и покупали, перед моими глазами мелькали пальто, шапки, шарфы, рукавицы, телогрейки, отрезы материала, кружева, ковры, различные вышивки. В углу барахолки мычала и блеяла выставленная на продажу скотина. Возле пивнушки толкались и матерились пьяные мужики, и к ним неторопливо двигался милиционер.

– Атас! Краснопёрый!

Мужики враз угомонились. Милиционер внимательно осмотрел очередь и выдернул из неё тощего мужика с зелёным лицом. Шапка свалилась с головы мужика и упала в снег. Пробегавший мимо пацан с размаха пнул её в толпу. Мужик кинулся за ней, милиционер следом, а вокруг, радуясь бесплатной потехе, хохотал народ.

Обувной ряд был жидковат, всего два десятка продавцов. Торговали валенками, чинёными ботинками, латаными сапогами. Мама прицепилась к одним сапогам, но продавец заломил несусветную цену. Поторговалась и отступилась.

– Ладно, – сказала она мне, – закажу тебе резиновые на шахте.

Я обрадовался. Мне нравились сапоги-самоклейки, которые были в моде у шахтёров. Их делали из резиновых автокамер.

В продуктовом ряду она купила миску горячей картошки и солёный огурец. Поели с куском своего чёрного хлеба, притулясь к ларьку, и запили обед общественным кипяточком из бака.

У покосившихся ворот безногий инвалид продолжал петь, потряхивая белой от инея головой.

У банка народу и саней стало поменьше. Артём лежал в кошёвке на соломе, укрывшись попоной, и дремал. Солдаты курили и хмуро смотрели по сторонам. Старший из них глухо сказал:

– Надо до темноты вернуться на шахту. У нас инструкция...

– Сейчас, сейчас! – заторопилась мама. – Очередь, наверно, подошла.

Она ушла в банк. Через полчаса позвала солдат, и они вынесли из банка деньги. Три мешка да ещё продуктовую сумку.

Артём протёр покрасневшие от дремоты глаза, попрыгал, постукивая себя в обхват руками, чтобы согреться, и сел на облучок.

Из города выехали, когда уже свет начал меркнуть. Солнце проваливалось в огромную багряно-синюю тучу, затянувшую горизонт, снег и иней на деревьях стали голубыми. Отфыркиваясь, Зайчик ходко нёс кошёвку по жёсткой дороге, полозья посвистывали, морозный воздух щипал ноздри, и я с интересом посматривал по сторонам, пытаясь угадать, кто оставил следы на обочинах дороги.

– Иди сюда, – сказала мама, – а то замёрзнешь...

Я перелез через облучок, закутался в попону с головой и лёг на солому между жёстких, с острыми углами мешков с деньгами.

Суматошный день утомил меня. Мягкая езда убаюкивала, события дня проходили как в кино, ярко и живо, это была сладкая дорожная дремота, которую познаёт только усталый, измотанный человек.

Мне грезился милиционер на толкучке в жёсткой, оттопыренной по сторонам шинели, человек с зелёным лицом и остриженной наголо головой. Человек без шапки бежал от милиционера, но тот, бухая тяжёлыми валенками с галошами, не отставал от беглеца и красной от мороза пятернёй срывал с кобуры клапан. Чёрный пистолет взлетел в руке над толпой.

– Трах! – с хрустом сломался выстрел.

Кошёвка ударилась во что-то мягкое, её развернуло в сторону, и я полетел головой в сугроб.

Пуля попала Зайчику в голову, он сделал несколько судорожных прыжков и рухнул поперёк дороги, перевернув сани.

Несколько минут над полем стояла тишина. Потом, громко вскрикнув, заматерился Артём:

– Ах, мать вашу! – И тише: – Ногу, кажись, сломал. Все живы, что ль?..

Солдаты вжались в сугроб, выставив впереди себя автоматы.

– Лежать! – крикнул Артём, увидев, что мама хочет подняться. – Ты ползком к нему, Дуся, ползком...

Зарываясь в снег, она поползла ко мне. На её движения из леска ударил выстрел. Пуля вспушила сугроб и ударилась в дерево.

– Кто это? – спросила мама.

– Кто-кто!.. – прошипел Артём. – Дезертиры!.. Лежите тут, не высовывайтесь. Как-никак два автоматных ствола. А ну-ка, хлопцы, вжарьте по кустам у сломанного дерева...

Автоматы ударили раскатисто и гулко. В кустах от посыпавшегося с ветвей снега заклубилась белая пыль. В ответ никто не стрелял. Выждав минут десять, солдаты для верности ещё раз обстреляли кусты и осторожно вышли на дорогу. Хромая, к ним подошёл Артём, осмотрелся по сторонам и махнул рукой:

– Выходи!

Поддерживая друг друга, мы с матерью выбрели на дорогу. Она кинулась к саням. Слава богу, деньги были на месте.

Артём, сняв шапку, стоял над мёртвым Зайчиком. Жеребец лежал на боку, в его неподвижных глазах безжизненно отражался свет луны, и начавшая погуливать позёмка шевелила хвост и гриву.

– Всё, отъездился! – вздохнул Артём, надел шапку и, достав из кармана нож, начал снимать с жеребца сбрую.

– До утра от него одни кости останутся, – сказал автоматчик, бросая в сани хомут. – Я на втором посту стоял, рядом с посёлком, так отбою не было от одичавших собак.

– Эти твари пострашнее волков будут, – подтвердил другой солдат. – Огня не боятся, оружие чувствуют и прячутся.

– Во всём война виновата, – сказал Артём, связывая оглобли вожжой. – И люди одичали, и звери. Войны как три года нет, а дезертиры всё по лесам шастают. Неделю назад магазин на станции обворовали. Да и то, куда им теперь податься? У них жизнь, как чемодан, куда ни кинься, везде крышка. Ну, запрягайтесь, что ли...

Кошёвку с деньгами и сбруей волокли до шахтного посёлка на себе. Я шёл, уцепившись одной рукой за маму, а другой за сани. Пришёл я в себя только на окраине посёлка.

Возле конторы было много людей. Шахтёры ждали получку и не расходились. Деньги перенесли из саней в кассу, и мать начала выдавать зарплату, а я уснул на шубе в углу, рядом с батареей отопления.

Поговорили о нападении на кассира в посёлке да и забыли. Новое горе заслонило старое. Говорили, что взорвался метан. Целый месяц трупы из шахты доставали. На розвальнях завёрнутых в мешковину мёртвых везли в посёлок.

Я бегал смотреть к шахте, но близко к огромному сараю, где громыхала клеть главного ствола, не пускали. Вокруг стояло оцепление. Солдаты отталкивали зарёванных баб, огромные овчарки рычали на толпу и рвались с поводков.

Оцепление размыкалось, когда нужно было кого-нибудь опознать или забрать домой мёртвого «вольняшку», а зэков сразу везли на кладбище, где их кое-как закидывали мёрзлой землёй.

Пришла весна, тусклая в этих краях, сиротская, и на посёлок с кладбища потянуло сладковатым запахом. Вода размыла зимние могилы и обнажила человеческие останки. Кто постарше и посмелее, ходили на них смотреть, но я не отходил от барака, слышал только, как с террикона, грохоча, проковылял мимо барака трактор с широким лобовым ножом, сгрёб трупы в овраг и заровнял их тяжёлой мокрой глиной.

С весенним теплом население барака ожило, люди стали чаще выходить на улицу, рассаживались на завалинках и скамейках. Бабы искались – вычёсывали друг у друга вшей, мужики играли в домино, а я в сапогах-самоклейках бродил по лужам, в которых плавало расплавленное солнце.

Весна и лето прошли безмятежно, и ни один из этих дней не оставил в памяти язвящей занозы. Но, как говорится, у Бога всего много.

...Ещё не пали зазимки, как однажды мать, придя среди дня с работы, начала собирать вещи.

Я смотрел, как она заталкивает в мешок простыни, наволочки, полотенца, платья, и ничего не понимал. Завязав мешок, мать села и заплакала, прижав меня к себе.

– Я должна ехать, – сказала она. – Ты поживёшь пока у дяди Артёма. Потом я приеду. Вот устроюсь на новом месте и приеду за тобой.

Расставание с матерью меня не огорчило, я даже обрадовался, что буду жить у Артёма и ходить с ним на конюшню.

Вечером, когда стемнело, мы подошли к низкому покосившемуся домику на краю посёлка. Мать постучала в окно. Артём вышел в накинутом на плечи полушубке, взял мои вещи и спросил мать:

– Зайдёшь?

– Некогда. С углевозом до города доберусь, а то опоздаю.

– Ну давай! Ты не забывай нас, пиши.

Мать поцеловала меня и быстро пошла к шахте, где, отфыркиваясь, пятился к составу, гружённому углём, паровоз.

Мы с Артёмом постояли, пока паровоз не свистнул и не потянул вагоны.

– Ну, вот, – сказал Артём. – Проводили мать, пойдём теперь в избу.

Вера, жена конюха, приняла меня с жалостливой теплотой. Накормила и уложила спать на печи за ситцевой занавеской. Я долго не мог заснуть, прислушивался к завыванию ветра в печной трубе. Мне было жёстко и неуютно. Чужой дом, чужие, хотя и знакомые люди. Я не мог понять, почему попал сюда, почему уехала мать, почему не сказала, когда вернётся.

На следующий день после обеда Артём взял меня с собой на конюшню. По узкому, петляющему, как горный ручей, проулку мы спустились к шахте. У столовой Артём остановился, купил себе кружку пива, а мне стакан морса.

Напротив в конторе суетились люди. Через окна было видно, как в кабинет начальника шахты сносили кипы каких-то бумаг и затянутый в ремни военный курил на крыльце длинную папиросу.

К нему-то Артём меня и подвёл.

– Вот сын кассиршин, – сказал он.

Военный щелчком пульнул папиросу на середину дороги и сбежал по ступеням, скрипя кожей ремней и сапогами.

– Как тебя зовут? – спросил он, садясь передо мной на корточки.

– Вася...

Я с любопытством смотрел на военного, мне нравилась его суконная гимнастёрка, а особенно револьвер в кожаной кобуре.

– Ничего он не знает, товарищ лейтенант, – сказал Артём, заворачивая козью ножку. – Она привела его ко мне, а куда девалась, зачем...

Конюх выразительно пожал плечами.

– Помалкивай! – сердито сказал военный. – Иди за угол и подожди.

Лейтенант сел на ступеньки и посадил меня на колени.

– Где ты сейчас живёшь?

– У дяди Артёма.

– Не обижает он тебя? А то мы его накажем!

– Не, он добрый. У него Зайчик был, тот, которого дезертиры застрелили. А сейчас мы на конюшню идём...

– Слушай, Вася, мать когда уехала?

– Вчера вечером. Мы с дядей Артёмом стояли, пока углевоз не ушёл. На нём и уехала...

– А куда поехала, не говорила?

– Не... Сказала, что приедет скоро, и всё.

– Ну ладно, – подумав, сказал лейтенант. – Иди, гуляй. А ты, конюх, ко мне!

О чём говорили Артём и военный, я не слышал, только видел, как конюх пожимал плечами, чесал затылок, бил себя в грудь, потом повернулся и пошёл. Лицо его было мрачным.

– Пойдём! – сказал он. И, помолчав, добавил: – Может, отвяжутся...

– А что ему было нужно? – спросил я, забегая вперёд.

– Да так, ерунда, – сказал Артём и погладил меня по вихрастой голове.

В конюшне было сумрачно и тепло. Пахло свежим сеном, солнечные нити, пробиваясь сквозь нечастые оконца, трепетали на деревянных перегородках денников.

– Пойдём в конюховку, – сказал Артём, – сейчас нет лошадей, все на работе.

В конюховке топилась печка, на крюках висела сбруя, пахло кожей и дёгтем. На столе лежали остро наточенные ножи, шила различных размеров, толстые нитки и узко нарезанные ремешки.

– Вот тут и будем работать, – сказал Артём, снимая хомут с гвоздя. – Сбруя, Василий, на лошади должна быть, как парадный костюм жениха. Ты что будешь делать?

– Я кнут хочу сделать.

– Так за чем же дело? – улыбнулся Артём. – Всё перед тобой. Бери и делай.

Я выбрал в углу ровную палочку для кнутовища, взял со стола ремешок и сел на скамейку.

– Дядь Артём, – спросил я, – правда, что в шахте лошади работают?

– Почти не осталось, – ответил конюх, – только на четвёртом участке. На электротягу шахту переводят.

– А эти лошади где спят?..

– Там и спят, под землёй. Они, брат, со временем, как поработают на добыче, умнее человека становятся. Конец смены – шабаш, хоть убей, не заставишь работать. Будущие обвалы чуют заранее, ржут, копытами бьют.

– И всю жизнь под землёй?..

– Под землёй. Слепнут без света. – И Артём запел приятным баском: «А молодого коногона везут с разбитой головой...»

...Уже зимой приехала моя родная тётя Варя и забрала меня к себе. О матери она ничего не говорила, как я её ни расспрашивал.

– Молчи! Потом узнаешь, – лепетала она и прижимала моё залитое слезами лицо к жёсткой вязаной кофте.

Мать вернулась в пятьдесят шестом году из лагеря с туберкулёзом и справкой, что она ни в чём не виновата. Оставшуюся жизнь она не жила, а тлела. Болезнь загоняли внутрь, но она была неистребима. Мать не высказывала ни осуждения, ни обиды за свою искалеченную жизнь, только иногда во сне вдруг начинала рыдать, и я соскакивал с кровати и будил её. Она вставала и начинала молиться. Под её шёпот я засыпал.

Николай ПОЛОТНЯНКО